

«Кто виноват и почему? Сегодня и вчера? Этим излюбленный вопрос русской литературы возникает при чтении произведений Владимира Куропатова. Показывая галерею героев конца XX столетия, у писателя нет однозначного ответа. Но книги В.Ф. Куропатова наполнены живыми людьми – людьми, которые дышат, смеются, плачут и любят. Есть деревня, есть леса и горы. И есть Бог, которого так хотел писатель. Бог тот – Труд, Честь, Совесть. Есть святые и незыблемые принципы нашего бытия, переданные предками, завещанные детям и внукам нашим. Всё это прописано в прозе В.Ф. Куропатова довольно зрело и нешаблонно».

Геннадий Емельянов.

*(Владимир Куропатов. Из публикаций в журнале
«Литературный Кузбасс». 2002–2003 г.)*

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

Ночевал я на сеновале у чужих людей в чужой деревне. Проснулся от яростных, клубящихся раскатов грома, барабанного боя не частых, но крупных капель по железу кровли и от душного, дурманящего голову запаха свежего сена. Глянул на часы – без четверти семь. Первый автобус уже ушёл, до второго гроза наверняка успеет стихнуть. Так что, сказал себе, валяйся вволю. И в этот самый миг квадрат лаза вспыхнул, как взорвался, ослепительным белым светом, и прямо над моей головой сухо и с такой силой треснуло, будто мир раскололся вдребезги. Меня вдавило в сено, но тут же подбросило, и я, машинально схватив лямку рюкзака, но, забыв про обувь, ошалело кинулся, сам не зная зачем, к лазу. Поставил ногу на ступеньку лестницы, а вторую уже не решился – сплошной стеной хлынул дождь...

Сюда же, под козырёк сеновала, метнулась с дороги бабушка с ведёрком воды. Прислонилась к стене, опустила ношу на землю, запрокинула на меня голову:

– Ка-а-ак он хряснул-то! Испужался?..

– Нет, – сказал я.

Бабушка порассматривала меня лукаво и недоверчиво: ой ли?

– А я так... – засмеялась. Смех молодой, звонкий. – Я до страсти оробела. Ажно присела. Ровно курка перед петухом.

Чуть припечалилась, сцепила на животе руки и стала смотреть на бойкие отвесные струны дождя. Невысокая, аккуратненькая, в

свежем цветастом переднике, босая, на голове – шалашик белой косынки в частых мокрых рябинах...

Сверкнула молния. Бабушка запоздало заслонилась от неё ладонью: «Восподи...». Остальные её слова я не расслышал: загромыхало снова, но уже не с такой силой, как прошлый раз.

– Ты Казанцевым-то кто будешь? – полюбопытствовала бабушка, не отрывая взгляда от дождя.

– Никто. Случайный ночевальник.

И я объяснил: возвращался из лесу с грибами, ступил не на ту тропку, шёл по ней и



очутился в незнакомой деревне. Надвигалась ночь, попросился на сеновал – не отказали.

– А я вот чуток всего не дошагала до своей избы, – кивнула на домик через несколько дворов наискось, чем-то напоминающий – своей опрятностью, ухоженностью, что ли, – хозяйку.

– Думала: успею, обернусь. Да не вышло.

– У вас же, вижу, колонка под самыми окнами. Или не работает?

– Чего ж, работает... На полив, стирку, на мытьё из неё беру. А пить не могу – ржой отдаёт. Вот и хожу вон аж куда, в хмелевский – наш, значит, – колодец. Ведёрка мне, одной, на день за глаза...

– Это как же? – не понял я. – Дом ваш здесь, а колодец там...

– А просто, душа моя...

Бабушка подняла на меня глаза. Были они, я ещё раньше заметил, молодые, как и смех её, и синие-синие.

– Раньше, до колхозов-то ещё, дом свёкра моего там стоял. Место, видишь, широкое, разгульное, а – недоброе: кони зачали падать. У свёкра Кузьмы Тарасовича кони были ай да ну какие – и все в одну зиму свалились. А то вечером, как солнце зайдёт, кто-то зачинает стены с улицы ровно метлой мести. Свёкор выйдет, всё кругом обсмотрит – никого. Только он в избу – опять метёт. Недоброе, сказали старики, место – сымись, мол, Кузьма Тарасович. Пришлось перенести дом сюда. А колодец, как ни ухитрялись, не смогли.

Плутовато прищурила глаза:

– Теперь тебе понятно?

– Понятно. Ну, а это место, как, добрым оказалось?

– Тут ничего, слава Богу. И скотина хорошо велась, и всякий прибыток был, и никакая хворь в дом не входила. Может, всё так бы и шло, да война проклятая порушила. Считай, на нет семью извела. Среди них и муженёк мой, Гриша... Которые из пушек палят, а ну-ка, скажи, как называются?

– Артиллеристы.

– Вот ем, тирилистом – никак слово не выговору – Гриша и был. Братья-то раньше погибли, а он перед самым уже концом: четырнадцатого апреля сорок пятого. Похоронку так и берегу – всего-то и памяти от него. Свёкор всё говорил: мол, Гринька, придёт. Бог его сохранит, у Гриньки сын вон растёт, а сыну отец нужен. Может, вправду у Кузьмы Тарасовича надея на Бога была, а может, просто себя да нас со свекровкой утешал: те-то трое холостыми на фронт ушли. А рассудить, так и нашего с Гришей супружества не было: на Первой свадьбе сыграли, а в конце июня уже разлучились. Думали, ненадолго, самое большое, до зимы. Гриша смехом сказал мне: мол, пока я

немца бя, ты б сподобилась да сына мне родила. Наказ я исполнила, а вот наказчика не дождалась... Она же, война-лиходейка, и свекровку мою раньше срока надломилла. Шутка сказать – четверых слезами обмыть. Источила печаль её сердце, ровно моль одежду. В день, как на Гришу похоронка пришла, свалилась и уж больше не поднялась. В три недели, как свечка до полочки, дотлела. Тут тебе, конечно, и хлад, и глад, и насада сказались – всё, что за четыре года вынесено... И осталось от всего роду нашего: свёкор, я да сынок мой Генашка. Когда сорочины свекрови отвели, свёкор мне и говорит: свежи меня, дочка, в приют. Какая тебе корысть от меня, сидня, – к той поре у него ноги стали отказывать. Да и кто, говорит, я тебе? Чужой дядька... Вот оно как: беды с улицы придут, а победков сами наделаем. Ох, и разобиделась же я на него! Говорю: «Так какая же тогда, тятя, я тебе дочка, коли говоришь: свежи. А не совестно тебе?» Заплакал. Я – следом. Хороша эта утеха, да шибко-то баловаться ею некогда. Утёрли слёзы да и почали жить дальше: он при мне, я при нём. Так шестнадцать годков друг для дружки костылями и пробыли. Я раным-рано встану, еды, какой уж там Бог послал, наварю и – на работу колхозную. И не волнуясь: мальчонка у меня при живой душе оставлен.

С ногами-то у Кузьмы Тарасовича как-то больно чудно было: и болеть не болят, и не ходят. Так он как приноровился: когда меня дома нет (а я всё ругалась, не во вред бы), нальёт в чуну воды – ноги-то маленько и войдут в чувство. И перебирает потихоньку с палочкой по избе да по двору, занятые себе выискивает. Без дела часу прожить не мог. То он табуретку чинит, то ножницы точит или корзинку сплетёт, а то новый ковшик из дерева вырезает или ложки... Всё чем-нибудь угодить-пособить хотел. А, хочешь знать, главная его подсоба была то, что самосад курил. Войдёшь в избу – табаком пахнет, значит, тут мужик обитает, значит, не сирый дом. И силы-то в тебе поднимаются. Вот хоть ты смейся, хоть что, а я тебе всю правду сказала...

Дождь, чуть притихнув, припускал с новой силой. Однако небо мало-помалу уже приподымалось, а гром откатывался на края его.

– Сам-то откуда будешь? – спросила бабушка.

– Из Кемерова.

– И давно там живёшь?

– Да уж лет пятнадцать.

– И мой Геннадий до прошлого года в Кемеровой жил. На заводе инженером работал. Комаров Геннадий Григорьевич. Может, слышал? Хотя там Комаровых, поди-и...

– А почему Комаров-то, если колодец – хмелевский?

– И это просто, душа моя... Свёкр мой, Кузьма Тарасович Хмелёв, овдовел и женился в другой раз на вдовой же Анне Михайловне Комаровой, свекрови моей. У неё двое парнишек было, у Кузьмы Тарасовича – один. Одно-го местного нажили – стало четверо. Тогда и поставили дом там, где колодец теперь. Гриша мой Комаровым был. По метрике. Но метрика – что? Бумажка. А семья вся Хмелёвыми звалась. Вот когда свекровка-то моя померла, люди, понятно, у кого языки полее, и стали подзуживать с одной стороны свёкру, с другой мне: мол, совсем чужие вы друг дружке. Потому и засобирался он в приют. А я ему говорю: «По рождению, тятя, все снохи всем свёкрам чужие, а по обхождению ты мне роднее родного батюшки». И всё, до самой его смерти разговору об этом у нас больше не заходило. А умер он, когда Генашка уже на втором курсе учился...

– А теперь ваш сын где живёт?

– В прошлом годе в Тюмень перевели. На повышение. Теперь, – бабушка вздохнула, – редко ко мне навдывается. Но, спасибо, снохи с внуками не забывают. У меня ведь, – лукаво прищурилась, засмеялась звонко, – сын один, а снох аж три!

Упреждая мой вопрос, подняла руку:

– А уж это-то, душа моя, по нынешним временам и подавно просто: прохвост мой Генашка, хоть и на инженера выучился. Седина уже в волосах, а он всё жён меняет. Да жёны-то все какие ему попадаются! Хоть Валю возьми, хоть Надю – и умные, и работящие, и красивые. Про Ирину пока ничего не скажу. С личика, правда, ничего так, смазливенькая, но с лица ж воду не пить. А про остальное не знаю. Там уже, в Тюмени, поженились. Весной на два дня приезжали. Так разве же поймёшь человека за два-то дня? Но с виду вроде спокойная и рассудительная. Спрашиваю у Геннадия: «Ну, сын, и на сколько ты с ней?..». Говорит: «Всё, мама, теперь окончательно. Иринка мне по душе». Так и первые, когда женился, по душе были, а вон двое парнишек безотцовщиной растут! Тебя, говорю, фашист этот, Гитлер, осиротил, а ты сам...

Бабушка нахмурила брови:

– Твои-то детки при тебе живут?

– При мне.

– Вот и ладно, вот и хорошо... Это в июне Валя с Вадиком у меня гостили. Сама-то она, правда, только день побыла да и поехала – работа. А Вадик, тот три недели пожил. Двенадцать лет мальчонке, а такой уже смекалистый да расторопный. И картошку мне выполол, и крылечко починил, и дров мы с ним напилели... Куда, говорю, с добром парень. Дай бы Бог так и дальше. А вот за дальше-то я уже и боюсь! Сейчас он ещё ребёнок, сейчас на него

ещё и материнской управы хватает – Валя, она строга. Но все равно женщина ж. Что там ни говори, а птица крыльями сильна, а семья – мужчиной. Опять свёкра своего Кузьму Тарасовича вспомню: и совсем старичок, и хворый, а мне подмогой был. Если бы не его наставления, так Генашка, может, не только бы многоженцем стал...

Дождь заметно поредел и, словно приотмившись, сыпал уже без прежней прыти, как бы нехотя. Бабушка посмотрела на небо: сквозь лохмы рыхлых облаков кое-где уже проглядывались голубые проплешинки. Перевела взгляд на свой дом, призадумалась на какое-то время и вдруг, как бы вспомнив позабытое что-то, засияла радостно.

– Вчерась Сашенька – это меньшой, в четвёртый класс пойдёт – письмо мне прислал и хвалится: купил в магазине части и сам склеил ироплан; прочитал книжку про пионеров; на улице десять копеек нашёл – в копилку бросил, хочет новую клюшку купить к зиме; у соседней котёнок потерялся было, а наемдни нашёлся... Про всё чисто бабушке доложили. Уж такой лопотун – что в письмах, что наяву...

– Саша – это Надин?

– Нет, душа моя, Надин – Кирюшенька. Тот ещё только «дай-дай» говорит. Может, теперь и ещё чему научился – всё-таки десять дней, как был тут...

– Так вы же говорили, что у вас двое внуков.

– Такого я тебе не сказывала.

– Да только что...

– Только что я тебе поведала: мол, у моего, сынка двое мальчат безотцовщиной растут. А внуков у меня трое.

– Что-то не пойму я вас.

– Сейчас поймёшь. Я тебе и это разобъясню. Тут тоже всё проще простого. Значит, первая Геннадьева жена – Валя. Нажили они Вадика и Сашеньку. Разошлись. Женился Генашка на Наде. Прожили чуть больше года – разошлись, ребёночка родить не успели. Вскорости Надя вышла за Анатолия. Родился у них Кирюшенька. Так вот, Надя мне кто? Сноха? Сноха. А ребёночек снохи кем свекровке доводится? Внуком. Кирюшенька – мой третий внук. Видишь, тут и понимать-то нечего.

Довольная своим объяснением, бабушка сдержанно, почти беззвучно засмеялась.

– Это Надя с Анатолием вскорости после женитьбы приехали ко мне в гости. Ну, Надя, как и раньше, всё кличет меня: мама, мама. Анатолий слушал, слушал да и спрашивает: «А мне-то, Наталья Егоровна, как вас называть и кем я вам буду?». «А будь, – говорю ему, – хорошим мужем моей Наденьке, а тогда и мне станешь хорошим человеком. А называй меня, как тебе назовётся». «Ну, – говорит, – и добро,

мать, договорились». Так с тех пор матерью и зовёт. А чего, пусть, мне глянется... А человек-то он и вправду хороший. Живут душа в душу. Не-ет, за Надю я теперь спокойна.

Теперь только и думы мои что об Вале. Плохо у неё с фатерой. В однокомнатке с двумя ребятами – это что ж за житье? Никак большей не может добиться. Я ей говорю: и не надо, и не хлопочи. Собирайте манатки – да и сюда. Я же не вечная. Случись что со мной, дом-то кому отойдёт? Геннадий он нужен, что ли? Ты, говорю, в городе медицинская сестра и здесь будешь ею же. Тем паче, сама ты деревенская, ко всему приспособленная. А по городу соскучишься, так на автобус и через час – там. А может, намекаю, и не соскучишься, вдруг человек какой приглянется тут, а ты ему. Вздохнула: «Кому я, мама, теперь нужна». Э-э-э, думаю, милая, ещё как нужна будешь, как нужна... «Собирайся-ка, – говорю, – сходим в березнячок за вениками». И пошли мы... К слову, в июне это было, когда они с Вадиком приехали. Повела я её не тут, не улицей, а во-он тем проулочком. Валя говорит: «Тут же, мама, дальше». А я ей: «Дальше – надеи больше, а где короче, там уж веники повыломаны». А сама Бога молю: хоть бы Николай Захаров дома был, а уж заделье-то в дом взойти всегда отыщу. А никакого заделья и не потребовалось: вот он, Николай, картошку тяпает. Подошли к городьбе, поздравились, остановились, как в деревне и заведено. Посудачили про то да про это, пошутили-посмеялись да и пошли мы дальше, а Николай дальше тяпать стал.

Идём, я привздохнула да и без назойства Вале рассказываю: вот, мол, всем хорошо человек – и видный из себя, и трезвый, и при должности: мастерскими колхозными заведует, – а семейная жизнь не задалась. Благоверная-то его крутила с кем ни попадя, позорила мужа, а прошлой зимой, когда Николай в отпуск уезжал, укатила с каким-то сезонником. И без следа. Старшая девочка в городе учится, а меньшая, Сонюшка, при Николае живёт... Рассказала я Вале это, привздохнула ещё разок, а тут мы и в рощицу вошли. Сломали веточек на три веничка – и домой. Вот теперь можно и покорооче пройти, по улице. Дома уже – будто так просто, но выказывая, что немножко и неспроста, – говорю: «А человек он вполне самостоятельный, Николай-то Захаров». Ничего не ответила моя сношенька. Но лицом зарделась. А мне это уже и ладно, это уже ответ.

На остановке, как ей в автобус садиться, я уж попрямее: «Езжай, дочка, и думай. И я тут думать буду». Махнула она рукой: «Да ну вас, мама...» – И засмеялась. И это мне тоже приглянулось, как засмеялась. Покатил её автобус в город, а я прямехонько к Николаю. «Ну, – говорю, – ты чего-нибудь понял из моего давеш-

него посещения или растолковать тебе?». Мотнул головой: ну, мол, Егоровна... И засмеялся точь-в-точь таким же смехом, как и Валентина на остановке...

– По секрету тебе скажу, – бабушка пригласила голос, – дело у меня, считай, слажено. В те три недели, что Вадик у меня гостил, свела я его и с Николаем, и с его Софьюшкой. И такая дружба меж имя началась, такой тут гвалт был... Я тебе про Сашенькино письмо рассказывала, да мы с тобой перебились. Так вот, дальше-то он пишет: Вадик, мол, мне все рассказал и мамке тоже рассказал про дядю Колю и про Соню, я тоже хочу с ними сдружиться; в следующее воскресенье, баба, мы приедем все: и мамка, и Вадик, и я. Вот и жду.

Переживаю, конечно, крепко. Но ничего, ежели какая загвоздка выйдет, так я Поликарповну выдвину вперед, товарку свою лучшую, уж против неё-то Валентине не устоять будет – не старуха, а сущий генерал! Сейчас хотела зайти к ней, ещё разок обо всем перемолвиться, да гроза помешала... Ох-хо-хо, сын, говорю, грешит, а мать искупляй вины его. А что, душа моя, делать остаётся? Хочется, чтобы счастьяца всем перепало...

Солнечный свет озарил землю. Лужи зеркально заблестели, радужно заискрилась листва деревьев, трава. Где-то близко истоиво-звонко пропел петух. В другом дворе слабосильно, с нежной корявостью, ответил ему молодой петушок. Воздух наполнился запахами августовской спелости.

– Вот и распогодилось, слава тебе, воспо-ди...

Бабушка поддела дужку ведра, однако тут же выпустила её, распрямилась. Сунула руку в карман передника, достала туго налитой красный помидор.

– Возьми-ка вот. Первенький, на корню дошёл. Хотела Поликарповну одарить, да, говорю, не случилось зайти. Бери, бери! А ей в другой раз снесу – теперь-то они пойду-у-ут...

Подобрав подол юбки и осторожно ступая босыми ногами по раскисшей глине, она шла к своему дому.

Вдруг, будто хоронившиеся до этой поры где-то за углом, настигли её быстрые редкие нити дождя, озорно ударили по спине, плечам, голове. Бабушка вздрогнула, остановилась, обернулась ко мне, возвестила с детским восторгом:

– Слепой дождь! Слепой!

Засмеялась и, вся праздничная, в праздничном же солнечном блеске, пошагала дальше...

(1985 год)

«Буду спорить...»

Много лет назад я, тогда еще только начинающий литератор, проводил с семьей отпуск в Романовском лесничестве, расположенном в каких-нибудь полутора километрах от старинного села Иверка. Лесничим был Емельян Михайлович Кряжевских. Помогала ему жена Дуся. Одна её хорошая знакомая жила в Кемерове и была нашим большим другом, в обиходе мы звали её Шахро. Она и сделала нам протекцию.

Кряжевские приняли нас радушно. Поселили в домике холостяка лесотехника, уехавшего в отпуск. Жилось нам хорошо. Живописное место. В десяти метрах речка. В тридцати – лес. Купались, рыбачили, загорали, собирали грибы, ягоды, травы...

Поздно вечером, когда все мои, наконец-то, укладывались спать, я сел за небольшой, домашней работы, стол при свете тусклой, засиженной мухами лампочки, чуть не до рассвета сочинял рассказы.

А окно в окно в своей конторе (часть жилого дома с отдельным входом) при свете, может, чуть более яркой лампочки, лесничий тоже чуть не до третьих петухов одолевал объёмные тома. Страстный был книголюб. И – своеобразный. И человеком был своеобразным.

Сидит, значит, за своим рабочим столом, отвалившись на спинку стула, закинув ногу на ногу, и сосредоточенно читает. Читает, читает, не отрывая глаз от страницы, дотянется рукой до гранёного стакана на столе, поднесёт к губам, сделает малюсенький глоточек – как делают ораторы, выступающие с долгими речами – поставит стакан на стол. Читает, читает и снова тянется к стакану.

Зайдя к нему в контору, я всё гадал: что в нём, стакане, налито? Обыкновенная вода? Так губы лесничего в процессе чтения никак не задействованы, в отличие того же оратора, – чего их смачивать... Нарзан? Тогда на стенках стакана были бы серебристые пузырьки. Водка? Но от водки морщатся.

Однажды не утерпел, спросил несмело.

Емельян Михайлович, не поднимая на меня глаз:

– А вы определите сами...

Взял стакан. Отхлебнул самую малость. Захватило дух.

– Никак спирт?

– Притом наичистейший... Не морщусь, потому что правильно дышу. Это, скажу вам, целая наука! А малыми дозами принимаю, чтоб, читаючи, пребывать в надёжном мыслительном состоянии, то есть не уподобляться болвану стоеросовому.

Смеясь, добавил:

– Умный человек бывает болваном в двух крайностях: когда он или шибко трезвый, или шибко пьяный...

Бывало, лесничий среди ночи в своём постоянном «надёжно мыслительном состоянии» вежливо стучался ко мне:

– Выдьте... Буду спорить.

Я выходил. В руках его только что осилённая книга.

Указательным пальцем клевал её жесткую обложку:

– Буду, говорю, спорить. Не возражаете?

Я не возражал, так как наперёд знал, что лесничий будет по поводу им прочитанного произносить не лишённую оригинальности речь, а я слушать и тоже входить в мыслительное состояние.

Усаживались друг перед другом на сосновых чурбаках, напиленного лесотехником на дрова, и Емельян Михайлович начинал:

– Значит, одолел вот том сочинителя Ивана Тургенева... На разных собраниях, отчётах, конференциях и всё таком прочем, полагаю, бываете. И я бываю. Каждый, кто берёт слово, что говорит? Каждый с жаром-пылом говорит: НАДО! Нам надо сделать то-то, решить это-то, стремиться к тому-то, избавляться от того-то, помнить о том-то и позабыть напрочь о том-то... Один «отнадал», другой подымается и вдругорядь те же нады повторяет. За ним третий, четвёртый... Всё старательно в протокол записали, приняли решение и тут же позабыли про все свои нады...

– Вот и здесь, – лесничий опять клевал пальцем обложку книги, – то же самое. Все эти Рудины, Базаровы, Лежневы, полагаю, чистой души люди были и хотели привести народ наш к порядку, свету и добру, да – не задалось. Главное-то – дело – никак не могли ухватить да потащить его.

Почему? А больно уж много «надали». Так я понимаю. Работницей гордости в нашей нации кот наплакал.

Теперь вспомните-ка Обломова. И вспомните его сердечного друга Штольца. Ой, не просто так сочинитель Гончаров дал ему такую Фамилию. Я докопался: Штолец по-немецки обозначает «гордый». Этот немец самого простого рода и звания всё добыл своими руками, своим умом и стараниями. Он был шибко гордый, чтобы остаться бедняком. А Обломов?.. И ещё тыщи тыщ таких же русичей? Профукивали, пускали на ветер свои состояния...

Нету в русском человеке гордости. В этом корень всех наших несчастий.

Лесничий, сунув том под мышку, направился к себе. Через несколько шагов бросал через плечо:

– Не загордеем – разнесёт нас чёрный вихрь по белу свету. И никто имени нашего не упомянет...

Емельян Михайлович стучался в другой раз:

– Буду спорить! Выдьте-ка...

Я выходил. Он с загадочной ухмылкой давал мне том «Войны и мира» Льва Толстого, говорил:

– Пойдите посмотрите на свету, как этот роман начинается, если позабыли уже.

Я шёл в комнату, становился под лампочкой. Обнаруживал, что роман Льва Николаевича начинался, как всегда: монологом фрейлины и приближённой императрицы Марии Фёдоровны Анной Павловной Шерер, произносимым по-французски. Внизу страницы писателем дан перевод монолога на русский язык...

Возвращался к Емельяну Михайловичу.

Он, тряхнув кудлатой головой:

– Так-то, брат... Значит, спорю. Ты, великий наш и мудрый, русский, должен был то, что эта мадам лопочет по-иноземному, сказать мне, тоже русскому, по-русски же. Не оскорбляй и не унижай нашу родину Россию. Да, Россию, потому что речь наша всем племенем почитается не самой последней частью родины. Чего ты, батюшка, то и дело перескакиваешь на иноземную речь, а потом сам же и переводишь целые страницы. Зачем зряшную работу делаешь? Экономь силы и время. А, главное, не навлекай на себя позор... Когда-то в лесотехникуме преподавательница литературы задавала нам выучить наизусть стихотворение в прозе Тургенева. Называется оно «Русский язык». Я и сейчас его помню: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» «Свободный», говорит. А ты его – в кабалу тянешь. В иноземную!.. Гордости в тебе нет, что ли, граф? Как тебе не совестно!

Сердито крикнув, лесничий подымался с чурбака и, не прошившись, уходил...

И вновь стучался средь ночи:

– Выдьте. Буду спорить...

Усаживались на чурбаках.

– Значит, – тюкал лесничий пальцем по обложке книги, – «Серая мышь». Роман нынешнего сочинителя Виля Липатова... Кстати, наш – сибиряк... Полагаю, вы читали это сочинение. Не знаю, как вы, а я... В общем, спивается русская нация. Вызывает её надо из этой трясины. Но почему она врюхалась в неё? – вот вопрос. Сочинитель нам рассказывает: мол,

этот мужичок сам виноват – не умеет себя в руках держать; того глуповатая бабёнка так любит, так холит, что последнее с себя снимет, сбудет и принесёт похмелку милому дружку, и сама с ним опрокинет чарочку; третий, умнющая голова, мастер на все руки, всем нужен, все ему платят натурой, всячески ему поблажают, а того ни сам он, ни его радетели не видят и не понимают, что всё это ему одним худом оборачивается. Словом, чистая правда в этом сочинении. Критики пишут, мол, оно пришлось как крашено яичко ко Христову дню. Однако ж никто не заикается, что не вся, да-ле-ко-о-о не вся правда показана... Если не будете против, расскажу действительный случай...

Значит, однажды, года три тому, в такую же летнюю жаркую пору прикатывают ко мне на грузовике трое из града Мариинска – рабочие горкомхоза. Говорят: «Выпиши нам и отпусти за наличный расчёт сорок ёлочек метра по три высотой».

Говорю: «Если хотите выкопать да посадить на улицах, так, ребятушки, не сезон: ель дерево прихотливое – засохнет».

Отвечают: «Не, мы спилим и увезём».

Спрашиваю шутя:

«Никак все предприятия вашего города тутжились да и выполнили разом годовые планы и станут ёлки наряжать, праздновать да в новый трудовой год вступать?».

«Нет, – сказали мужики, – с выполнением планов в городе как раз нешибконько – много всяких узких мест, заморочек, загвоздок и всего прочего».

«Так на что вам елки?»

Рассказали: «Наше городское партийное начальство доняло-таки первого секретаря обкома партии Ештокина, и он пообещал приехать в наш Мариинск. Ему хотят хорошенько пожаловаться на трудности, пустить слезу и много чего выпросить. А чтобы он был поговорчивее да пощедрее, вывели у хорошо знающих его людей в Кемерове, и даже в самой Москве-матушке нашли таких. Всё чисто выведали: и что любит выпивать-закусывать, и на какой мебели сидеть-спать, и какие подарки принимать, и какие женщины любят чтоб ему прислуживали... Кроме этого выяснили, что хозяин Кузбасса дюже любит в одиночку прогуляться утречком, после обеда и перед сном по еловой аллее. Понятно?!.. Вот нам и велено купить у тебя ёлок, привезти, наделать ломанми гнёзд, вставить в них ёлки. И пуцай по ней славненько гуляет высокий и славный гость, – входит ради блага мариинцев в хорошее настроение, добреет пусть...».

– Полагаю, догадываетесь, к чему это я. Да, да, к тому, что сочинитель Липатов написал роман о пагубе нашей нации, а в чём корень её, пагубы, не показал. Понимаю: посмей он

высветить всё как есть, так его бы уклепи туда, куда ворон костей не заносил. Правда нашим властям не нужна... Да и самому народу она, говоря по чести, не по вкусу, потому как народ наш всегда желал разгуляя, вольницы – строгая воля, свобода в нём не укоренена. Трудолюбие, терпенье, уважение к себе и нации, к родной стороне и ещё много что важное не укоренено в нас. Но сколько укоренено в наших душах непотребного, гадкого! Это вам и бахвальство, и разгульность, и бесшабашность, и бесконвойность...

– Кто или какая сила, наконец-то посеет в нас доброе, нужное и без пощады выдерет до последнего корешка всякое поганство? Кто, спрашиваю, повернёт нас к людскости?..

Поднявшись с чурбака, лесничий нервно выписывал на фоне блещущих звёзд знак вопроса.

– Кто? Пришельцы из других миров? Не думаю, что мы шибко им интересны...

По прошествии трёх недель мы распрощались с Кряжевскими...

Спустя полгода получаю от Емельяна Михайловича письмо:

«Поздравляю вас! Сегодня обнаружил в здешней лавке вашу книжку «Пожили-поработали». Прочёл вот. Кое-что для нас, се-

лян, есть интересное. Но – буду спорить!.. Через неделю-другую поеду по делам в область. Забегу к вам на часок...».

Я ждал его. Но – не дождался.

А сколько-то лет спустя, жена моя случайно встретила в Кемерове с Дусей, которая поведала следующее.

Емельян Михайлович продолжал читать толстые тома. Конечно, для ради пребывать «в надёжном мыслительном состоянии», методично принимал по малюсенькому глоточку чистейший спирт. С каких-то пор лесничий пристрастился излагать своё мнение о прочитанном на бумаге и отправлять в центральные газеты. Его раздумий не печатали. Стал жаловаться на редакторов-бюрократов в партийные органы. Ему присылали короткие формальные отписки. И в то же время стал он интересен органам госбезопасности... На другой день, как пришёл к власти Андропов, лесничий написал ему пространное письмо. Оно было переслано властям Кемеровской области... Емельян Михайлович ушёл в запой, потом впал в задумчивость, затем стал заговариваться.

Его поместили в психбольницу, где он вскоре скончался от воспаления лёгких.

(10 мая 2001 года)

ДЕРЕВЕНСКИЙ ФЕНОМЕН

Звали Колей. Был долговязый и худющий – «как через тын протянутый», говорят о таких. На лице постоянно блуждала блаженная улыбка. Тонкие губы всегда влажные. Работал в колхозе – помощником конюха.

Когда приехали на уборочную страду студентки Кемеровского химико-технологического техникума, Колю приставили к ним. Возниким. Взглянули на него девчата и прыснули в ладошки. И взяли парнишку в оборот. То, пока едут в поле, изловчатся и привяжут его к телеге верёвкой, то ворожили ему на картах и пророчили рыжую-рыжую невесту и шесть рыженьких-рыженьких дочерей, то вручали ему любовные письма, то назначали в полночь свидание на деревенском кладбище, и он там зяб чуть не до утра...

А потом девчата узнали, что он, как и они, закончил десятилетку. Да к тому же с золотой медалью. И переменили к нему своё отношение, и стали бранить его.

«Дурачина ты, Коля, простофиля! Поехал бы в любой техникум или институт, да даже в МГУ, показал бы свою медаль – и всё : ты студент! Про-сто-фи-ля...».

Девчонки сверлили пальцем виски.

«На следующий год обязательно поступи куда-нибудь. Обещаешь?».

Коля пообещал. И на следующий год отвёз свой диплом в тот же химико-технологический техникум.

Учился он замечательно. Получил красный диплом.

Года через полтора одна из тех девчонок-студенток встретила Колю в центре Кемерова.

Спросила:

– Ну, где ты сейчас и как?

На лице Коли изобразилась та его блаженная улыбка, и он сказал:

– В своей деревне. Конюхом...

